

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА.

«Черный монах», рассказ Ант. Чехова («Артист», № 1).
«Бабье царство», рассказ того-же («Р. М.», № 1).

Если читатели предпочитают в беллетристике совершать наиболее сильные, здоровые, совершенные и прекрасные явления жизни, именно, такие, в которых жизнь проявляется во всей своей яркости, силе и красоте, — им не следует читать г. Чехова, потому что г. Чехов — писатель совершенно противоположных качеств. В большинстве произведений его изображается жизнь, находящаяся в состоянии разложения, и от рёдкаго образа его по запахивает гнильцом. Герои его, по большей части, люди — если не физически, то нравственно больные, с развинченными нервами, безвольные, надломленные. Если порою он и выводит каких-нибудь здоровых и сильных людей, то они становятся им в такую же тащину, растлывающую и ненормальную условия жизни, что на глазах читателя условия эти начинают перетирать героев в своих жерновах, так что только кости трещат у них и кровь брызжет во все стороны, и читатель, таким образом, представляется мучительнейшее, надрывающее душу зрелище.

Такой характер большинства произведений г. Чехова мы не считаем ни недостатком, ни достоинством таланта его, а только констатируем факт, признавая свое солидное основание относительно существования и впадения этого факта. Мы вовсе, в то-же время, далеки от мысли, чтобы наша русская действительность, как бы ни была она печальна, только и доставляла бы наблюдениям писателя те патологические материалы, с которыми г. Чехов пишет дело. Но далеки мы и от того, чтобы претендовать на г. Чехова, ваять не изображать, а именно притворяться характером. Каждому свое, а мы желаем брать писателя таким, каков он есть, лишь бы в каждом изображении его была продуманная и прочувствованная правда.

II.

Вышеозначенные новыя два рассказа г. Чехова — «Черный монах» и «Бабье царство» вполне подходят к преобладающему жанру его произведений. Так, рассказ «Черный монах» заключает в себя весьма интересное изображение процесса помешательства одного молодого ученого магистра, Андрея Васильевича Коврина. Он утомился и разстроил свои нервы; за бутылкой вина он поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Коврин и поехал к своему дальнему родственнику, охотнику и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. Песоцкий был своего рода монахом, весь ушедший в свое садоводство, главным образом, в разведение разных пород яблоков. У него была дочь Таия, девушка некрасивая, небольшого роста, бледная и тощая, так что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищут; походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорила, любила поспорить, и при этом всякую, даже незначительную фразу, сопровождала выразительной мимикой и жестикуляцией. Одним словом, представляла собою девушку в высшей степени нервную. Тем не менее, она привлекала к себе тою своею не-

посредственностью и чистотой, какими отличаются у нас столь многие возросшие в провинциальной глуши дички.

Она была правой рукою своего отца в качестве усерднейшей помощницы его по садоводству. Коврин она знала с детства, хотя пять лет они уже не видались, и он помнил ее еще девочкою.

Поселясь в деревне, Коврин продолжал вести такую-же нервную и беспокойную жизнь, как и в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку, иногда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять садеться за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если печально успевал спать по полчаса, то уже потом не спит всю ночь, и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело. Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть-ли не каждый день приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели, иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову на бок.

При таких условиях жизни, первые его не только не успокаивались, но с каждым днем разстраивались больше и больше, и дело дошло до навязчивых мыслей, да еще и до галлюцинаций.

Так, Коврину начало казаться, что он где-то читал следующую легенду, не выходящую из его головы: «Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии... За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мрачен. От мрача получился другой мрач, потом от другого — третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой... Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на дальнем севере... Наконец, он вышел из предельной земной атмосферы, и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мрач опять попадет в атмосферу и покажется людям. Эта тысяча лет уже на исходе... По смыслу легенды, мы должны ждать черного монаха не сегодня-завтра.

III.

От навязчивой идеи один шаг до галлюцинаций. Вскоре Коврин увидел своего черного монаха, выйдя однажды вечером из парка на степной простор. На горизонте внезапно, точно вихрь или смерть, поднялся от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первое-же мгновение можно было понять, что он двигался со страшною быстротой и тем ближе подвигался, тем становился меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать. Монах в черной одежде, с седой головой и черными бровями, скрестив на груди руки, прошел мимо. Босые ноги его не касались земли. Уже прошелся сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и уныло-

пулся ему ласково и в то-же время лукаво. Но какое блѣдное, странно блѣдное, тонкое лицо! Опять начинала расти, онъ пролетѣлъ черезъ рѣку, неслышно ударился о глинистый берегъ и сосны и, пройдя сквозь нихъ, исчезъ, какъ дымъ.

Послѣ того, монахи часто начали являться Коврину и даже разговаривать съ нимъ. И здѣсь чрезвычайно мастерски, тонко изображено то психическое раздвоение, какое характеризуетъ начало помѣшательства. Съ одной стороны, Ковринъ сознавалъ, что черныи монахи—созданіе его воображенія, галлюцинація, но в то-же время признавалъ и его реальность.

— Но, вѣдь, ты миражъ,—сказалъ онъ ему во время одной изъ бесѣдъ,—зачѣмъ-же ты здѣсь сидишь на одномъ мѣстѣ? Это не влечется съ легендой.

— Это все равно,—сѣвѣтилъ монахъ не сразу, тихимъ голосомъ, обращаясь къ нему лицомъ.—Легенда, миражъ и я—все это продуктъ твоего возбужденнаго воображенія. Я призракъ.

— Значитъ, ты не существуешь?—спросилъ Ковринъ.

— Думай, какъ хочешь,—сказалъ монахъ и слабо улыбнулся.—Я существую въ твоёмъ воображеніи, а воображеніе твое есть часть природы, значить, я существую и въ природѣ.

Затѣмъ Коврину пришло въ голову, что если этого страшнаго, сверхъестественнаго монаха видѣлъ только онъ одинъ, то, значить, онъ боленъ и дошелъ уже до галлюцинацій. Это соображеніе испугало его, но не надолго.

— Но, вѣдь, мнѣ хорошо и я никому не дѣлаю зла; значить, въ моихъ галлюцинаціяхъ нѣтъ ничего дурнаго, подумалъ онъ, и ему жить стало хорошо. Къ тому-же, призракъ напоминалъ ему самую восторженно-горделивую мысль, такъ какъ у Коврина развивалась манія величія.—«Ты одинъ изъ тѣхъ немногихъ, viuшалъ ему монахъ, которые по справедливости называются избранными Божиими. Ты служишь вѣчной правдѣ. Твои мысли, намѣренія, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носятъ на себѣ божественную небесную печать, такъ какъ посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, «что вѣчно».

Одновременно съ этими галлюцинаціями развивался романъ Коврина и Тапи. И здѣсь, въ свою очередь, мы видимъ фактъ вполне патологическаго характера. Ни Ковринъ, ни Тапи и не думали влюбляться другъ въ друга. Но однажды Песоцкій въ минуту откровенности сообщилъ Коврину свои опасенія, что со смертью его рухнетъ любимое его дѣло, такъ какъ садъ попадетъ Богъ знаетъ въ чьи руки; Тапи не съумѣетъ одна вести его такъ, какъ онъ ведетъ при отцѣ, или-же Богъ знаетъ за кого выйдетъ замужъ. И при этомъ Песоцкій выразилъ желаніе, что какъ-бы хорошо было, если-бы на Тапѣ женился Ковринъ, такъ какъ онъ единственный человѣкъ, за котораго Песоцкій не боялся-бы выдать дочь,—человѣкъ умный, съ сердцемъ и не далъ-бы погибнуть любимому дѣлу. Этого случайнаго разговора было достаточно, чтобы послужить внушеніемъ для слабоумнаго Коврина.

Рядомъ съ энтузіазмомъ сознанія себя великимъ избранныкомъ неба внезапно загорѣлся въ Ковринѣ экстазъ любви къ Тапѣ и экстазъ этотъ, въ свою очередь, путемъ внушенія Ковринъ передалъ Тапѣ. Тогда-же лѣтомъ состоялась свадьба, но не на радость сошлись молодые люди. Представьте себѣ ужасъ молодой супруги, когда въ одну изъ зимнихъ ночей, въ Петербургѣ, она, проснув-

шись, увидѣла, что супругъ ея говорилъ, обращаясь къ креслу, жестиккулярно и смѣясь; глаза его блѣзли и въ смѣхѣ было что-то страшное. Это онъ бесѣдовалъ съ поспѣвшимъ его вновь чернымъ монахомъ. Его повезли къ доктору, начали лечить. Затѣмъ опять пастушило лѣто, и докторъ приказалъ ѣхать въ деревню. Ковринъ, по видимому, выздоровѣлъ, пересталъ видѣть чернаго монаха и ему оставалось только подкрѣпить свои физическія силы. Живя у тестя въ деревнѣ, онъ пилъ много молока, работалъ только два часа въ сутки, не пилъ вина и не курилъ. Но на самомъ дѣлѣ онъ нисколько не сталъ здоровѣе; его болѣзнь приняла лишь иной видъ; въ немъ все болѣе и болѣе начало развиваться ожесточеніе противъ своихъ пѣстунновъ, какъ противъ самыхъ злыхъ палачей. «Зачѣмъ, зачѣмъ вы меня лечили?—укорялъ онъ ихъ съ тоской:—бронистые препараты, праздность, теплыя ванны, надзоръ, малодушный страхъ за каждый глотокъ, за каждый шагъ—все это, въ концѣ концовъ, доведетъ меня до идіотизма. Я сходилъ съ ума, у меня была манія величія, но зато я былъ веселъ, бодръ и даже счастливъ, я былъ интересенъ и оригиналенъ. Теперь я сталъ разсудительнѣе и солиднѣе, но зато я таковъ, какъ всѣ, я—посредственность, мнѣ скучно жить... О, какъ вы жестоко поступили со мной! Я видѣлъ галлюцинаціи, но кому это мѣшало? Я спрашиваю, кому это мѣшало?».

Кончилось дѣло тѣмъ, что, поговоривъ оскорбительныхъ дерзостей тестю и измучивъ свою жену, Ковринъ разошелся съ ними, сошелся съ другой женщиной и умеръ на рукахъ ея въ Севастополѣ, отъ провозглашенія изъ горла, получа передъ смертью письмо сажающаго содержания: «Сейчасъ умеръ мой отецъ. Этими я обязана тебѣ, такъ какъ ты убилъ его. Нашъ садъ погибаетъ, въ немъ хозяйничаютъ ужъ чужіе, то-есть происходитъ то самое, чего такъ боялся блѣдный отецъ. Этими я обязана тоже тебѣ. Я ненавижу тебя всей моей душой и желаю, чтобы ты скорѣе погибъ. О, какъ я страдаю! Мою душу жжетъ невыносимая боль... Будь ты проклятъ. Я приняла тебя за необыкновеннаго человѣка, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшимъ».

Въ моментъ кончины, когда Ковринъ истекъ кровью, хлынувшей у него изъ горла, снова посѣтилъ его черныи монахъ и снова увѣрилъ, что онъ избранныкъ Божій и гений...

Нужно-ли и говорить о томъ, какое удручающее впечатлѣніе производитъ на читателя весь этотъ рассказъ, хотя, сказать по правдѣ, никакой идеи, никакого вывода читатель изъ всего этого не выноситъ. Передъ нами просто по просту интересная психіатрическая демонстрація, и мы имѣемъ основаніе вѣрить ей, такъ какъ г. Чеховъ, какъ извѣстно, человѣкъ компетентный въ медицинѣ.

IV.

Рассказъ «Бабы царство» не въ примѣръ содержательнѣе «Чернаго монаха». Здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ однимъ психіатрическимъ случаемъ, а съ фактомъ общественной патологии. Героиня рассказа находилась, въ свою очередь, въ трагическомъ положеніи, но это трагическое положеніе происходитъ не изъ какого-либо болѣзненнаго процесса, совершающагося въ ея нутрѣ, а во вѣншихъ условіяхъ ея жизни. Сама по себѣ она, напротивъ того, дышетъ здоровьемъ и имѣетъ всѣ шансы для жизни совсѣмъ не такой, на какую обречена. Но надъ нею тяготеетъ своего рода рокъ...

Казалось-бы, въ самомъ дѣлѣ, чего недостаетъ для Аппы Акимовны, чтобы утопать въ самомъ завидномъ

3
въ постоянномъ, безсрочномъ пользованіи крестьянъ; про-

счастіи: дѣвица въ самой цвѣтущей цѣрѣ, (ей было всего 25 лѣтъ), красавица, миллионерша, она стояла во главѣ громаднаго дѣла,—сталеитойнаго завода, будучи единственною и вполне самостоятельною владѣлицею его. И тѣмъ не менѣе, она чувствовала себя глубоко несчастною, такъ какъ не знала, куда дѣвать время и за что, ни бралась, чтобы наполнить его и сдѣлать свою жизнь содержательною,—все валилось изъ ея рукъ и обращалось въ ничто.

А, вѣдь, нельзя сказать, чтобы въ ней не были заложены здоровыя инстинкты и задатки ко всему въ высшей степени добродушному и человѣчному. Она не была избалована жизнью съ колыбели. Отца ея, младшаго своего брата, владѣлецъ завода держалъ въ черномъ тѣлѣ, на положеніи рабочаго, платя по 16 р. въ мѣсяцъ, и въ дѣтствѣ Анна Акимовна, вмѣстѣ съ родителями, видала всѣякія виды, перенѣлась нужды и знала по себѣ, какъ живутъ рабочіе. Лишь за три года до смерти старшій братъ Иванъ Павловичъ приблизилъ къ себѣ Акимъ и приказалъ нанять для Анютки гувернантку. Анну Акимовну воспитали, какъ барышню: она знала нѣсколько языковъ, читала русскія и иностранныя книги, играла на роялѣ, могла поддерживать въ салонѣ не только свѣтскіе, но и самыя серьезныя разговоры. Ей хотѣлось сдѣлать что-то такое великое, доброе, наполнить жизнь, но она ничего не умѣла, не знала какъ къ чему приступить, боялась даже директора завода Назарыча, который каждый ея добрый шагъ готовъ былъ встрѣтить рѣшительнымъ протестомъ, и дѣло шло мимо нея, по заведенной суровой и безволяной экономической рутинѣ, а она томилась въ праздности, не зная куда дѣвать свои могущія силы и капиталы...

У.

Вотъ, напрямикъ, наступаютъ Рождество. Она думаетъ съ досадою: ея ровесницы,—а ей шель двадцать шестой годъ,—теперь хлопочутъ по хозяйству, утомились и крѣпко уснутъ, а завтра утромъ проснутся въ праздничномъ настроеніи; многія изъ нихъ давно уже повыходили замужъ и имѣютъ дѣтей. Только она одна почему-то обязана, какъ старуха, сидѣть за просительными письмами, дѣлать на нихъ пометки, писать отвѣты, потому весь вечеръ до полуночи ничего не дѣлать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будутъ ее поздравлять и просить у нея, а послѣ завтра на заводѣ непременно случится какой нибудь скандалъ,—поубьютъ кого или убьютъ, или кто-нибудь умретъ отъ водки, а ее почему-то будетъ мучить совѣсть, а послѣ праздниковъ Назарычъ увелитъ за прогулъ человѣкъ двадцать, и всѣ эти двадцать будутъ безъ шапокъ жаться около ея крыльца, и ей будетъ совѣстно выйти къ нимъ, и ихъ прогонять, какъ собакъ. И всѣ знакомые будутъ говорить за глаза и писать ей въ анонимныхъ письмахъ, что она миллионерша, эксплуататорша, что она заѣдаетъ чужой вѣкъ и сосетъ у рабочихъ кровь.

Приказчикъ прислалъ ей полторы тысячи рублей, которые онъ отсудилъ у кого-то, выигравъ дѣло во второй инстанціи. Всякій разъ, какъ выигрывали въ ея пользу дѣла, ей становилось жутко и какъ будто совѣстно, и теперь ей стало жутко и неловко, и захотѣлось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видѣть ихъ. Она подумала выбрать одного изъ праздничныхъ просителей, какого-нибудь несчастнаго, давно уже потерявшаго надежду на лучшую жизнь и отдать ему полторы тысячи. Съ этою цѣлью отираивалась было къ какому-то губерискому секретарю Чаликову, но тамъ

мн. Я счастливъ, что мои горячія симпатіи къ Франціи, о которыхъ вы упомянули въ нашемъ лю-

такъ ошеломила ее атмосфера низкаго подхалимничества, грубой, беззащитной лжи и подъяческой жадности, что она отдумала жертвовать этой семьѣ всѣ полторы тысячи, а ограничилась всего на всего тридцатью, сорока рублями; полторы-же тысячи она отдала вдругъ, ни съ того, ни съ сего адвокату, служившему при заводѣ юристъ-консультантъ, Лысевичу, обѣдавшему у нея въ Рождество, и, среди своихъ развязныхъ рѣчей наивнушаго ея о томъ, что его на заводѣ обошли наградою.

VI.

— Для себя лично, ораторствовала она, я не подижую любви безъ семьи. Я одинока, одинока, какъ мѣсяцъ на небѣ, да еще съ ущербомъ, и, что-бы вы тамъ ни говорили, я увѣрена, я чувствую, что этотъ ущербъ можно пополнить только любовью въ обыкновенномъ смыслѣ. Мнѣ вѣстается, что эта любовь опредѣлитъ мои обязанности, мой трудъ, освѣтитъ мое міросозерцаніе. Я хочу отъ любви мира своей душѣ, покоя, хочу подалѣе отъ мускуса и всѣхъ тѣхъ спиритизмовъ и fin de siècle. Однимъ словомъ—мужъ и дѣти... Вотъ возьму и выйду замужъ! Выйду самымъ обыкновеннымъ, самымъ простымъ образомъ и буду сѣять отъ счастья. И, можете себѣ представить, выйду за простого рабочаго человѣка, за какого-нибудь механика или чертежника.

Ей и приглянулся было одинъ простой работникъ Пименовъ. Вечеромъ, внизу на половѣхъ тетушки, въ сообществѣ съ разными богомолками и странницами она даже рѣшилась высказать свою готовность выйти замужъ за Пименова. Но тогда она поднялась къ себѣ наверхъ, пошла къ своему лакею Мишенькѣ ничего не стоило двукратно-тремъ смѣшными сразу поначнуть всю ея рѣшимость.

— Чего вы смѣетесь?—спросила она у него, когда онъ подавалъ ей чай, и она замѣтила на его лицѣ улыбку.

— Я внизу былъ и слышалъ, какъ вы шутили на счетъ Пименова...—сказалъ онъ и прикрылъ рукою смѣющийся ротъ.—Посадить-бы его давеча обѣдать съ Викторомъ Николаевичемъ и съ генераломъ, такъ онъ померъ-бы отъ страха.—У Мишеньки задрожали плечи отъ смѣха.—Онъ и вилки, небось, держать не умѣетъ.

«Смѣхъ лакея, читаемъ мы, его слова, поджакъ и уши его произвели на Анну Акимовну впечатлѣніе нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видѣть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова обѣдающимъ вмѣстѣ съ Лысевичемъ и Крылинымъ, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, безпомощной, и она почувствовала отвращеніе. И только теперь, въ первый разъ за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименовѣ и о бракѣ съ простымъ рабочимъ,—вадоръ, глупость и самодурство. Чтобы убѣдить себя въ противномъ, преодолѣть отвращеніе, она хотѣла вспомнить слова, какія говорила за обѣдомъ, но уже не могла сообразить; стыдъ за свои мысли и поступки и страхъ, что она, быть можетъ, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращеніе къ своему малодушію смутило ее чрезвычайно. Она встала съ стула и быстро, какъ будто ее гнала кто нибудь, сошла внизъ, разбудила тамъ Сидридовну и стала увѣрять ее, что на пошутила»...

Вообще, портретъ Анны Акимовны производитъ на читателя впечатлѣніе весьма внимательнаго свойства. Здѣсь есть надъ чѣмъ задуматься, и можно сказать, что со смерти Островскаго не появлялось еще у насъ такого замѣчательнаго типа изъ бунеческой среды.

А. Снябичевскій.